

Николай Лесков

Юдоль



Николай Лесков

Юдоль

«Public Domain»

1892

Лесков Н. С.

Юдоль / Н. С. Лесков — «Public Domain», 1892

© Лесков Н. С., 1892
© Public Domain, 1892

Содержание

I	7
II	9
III	12
IV	14
V	16
VI	20
Конец ознакомительного фрагмента.	21

Николай Лесков

Юдоль

Рансодия

Совета Бог смиритися горе и юдолиям исполнитися в равень земницу.

Варух, V, 7.

Теперь (с наступлением весны 1892 года) мы можем сказать, что мы очень благополучно пережили крайне опасное положение, какое подготовили нам наше плохое хозяйство и неурожай прошлого лета!.. Беда сошла с рук сравнительно легко. Страдания поселян, описываемые корреспондентами современных изданий, конечно были велики и, как говорят, – «вопиют к небу»; но «ужас» впечатления, какое эти описания производят, очень слаб в сравнении с тем, что сохраняет в несвязных отрывках память о прошлых голодовках, когда не было никакой гласности и никакой общественной помощи людям, «избывавшим от глада».

О том, что было при исторических голодовках, упоминаемых в летописях и истории, то более или менее известно по тем описаниям, но у нас были голодовки в позднейшей поре, которую в литературе принято именовать «глухою порою», – и они не описывались, а потому воспоминания об этих голодовках, хотя и не очень обстоятельные, думается, были бы не излишни.

Сотрудник одной из нынешних петербургских газет, посетивший неурожайные местности России зимою 1892 года, имел случай беседовать о той поре с известным старожилом Орловской губернии – помещиком и владельцем знаменитого хрустального завода генералом С. И. Мальцевым, и «генерал, помнящий старинные голодовки», в разговорах с упомянутым писателем «удивлялся, как мы далеко ушли вперед». В удивлении этом он отмечал то, что «теперь о голоде говорит вся Россия, и раньше всех на него указало само правительство». Не то было сорок – пятьдесят лет тому назад. Тогда также случались неурожай, но о них могли знать лишь министры да разве сама голодающая масса. «Я тогда, – говорил генерал Мальцев, – представил проект обеспечения народного продовольствия. Император Николай Павлович весьма сочувственно отнесся к проекту; и я решил напечатать его, но *ни одна типография* не согласилась взять мою рукопись для набора...» Генералу «удалось напечатать свой проект только благодаря покровительству принца Петра Георгиевича Ольденбургского». (См. *Неделя*, 19 апреля 1892 г., № 16.)

С такими необыкновенными усилиями мог быть напечатан сорок лет тому назад «проект» о мерах против голода в народе; но описаний, как люди переживали этот голод, совсем не могло появиться в печати, и, что еще удивительнее, – их вероятно никто и не писал, потому что они не появлялись даже и в последующие за тем годы, когда положение русской печати стало сравнительно немножко свободнее.

Во время страшного по своим ужасам «голодного (1840) года» я был ребенком, но однако я кое-что помню, – по крайней мере по отношению к той местности, где была деревенька моих родителей – в Орловском уезде Орловской же губернии. Значительно более того, что я помню из тогдашнего времени, как непосредственный свидетель событий, я слышал многое после от старших, которые долго не забывали ту голодовку и часто обращались к этому ужасному времени со своими воспоминаниями в рассказах по тому или другому подходившему случаю.

Разумеется, все эти нынешние *мои* воспоминания охватывают один небольшой район нашей ближайшей местности (Орловский, Мценский и Малоархангельский уезды) и отражаются в моей памяти только в той форме, в какой они могли быть доступны «барчуку», жившему под родительским крылом, в защищенном от бедствия господском доме, – и потом воспоминания эти так неполны, бессвязны, отрывочны и поверхностны, что они отнюдь не могут пред-

ставить многостороннюю картину народного бедствия, но в них все-таки, может быть, найдется нечто пригодное к тому, чтобы представить хоть кое-что из тех обстоятельств, какими сопровождалась ужасная зима в глухой, бесхлебной деревеньке сороковых годов.

Словом, я решился набросать на бумагу то, что уцелело в моей памяти о давней голодовке, относящейся к той поре, о которой упомянул генерал Мальцев, и, приступая к этому, я вперед прошу у моих читателей снисхождения к скудости и отрывочности моего описания. Я предлагаю только то, что могу вспомнить и о чем теперь можно говорить бесстрастно и даже с отрадою, к которой дает возможность наш нынешний благополучный выход из угрожавшей нам беды.

Воспоминания мои будут не столько воспоминания об общей голодовке 1840 года, сколько частные заметки о том, что случилось голодною зимою этого года в нашей деревеньке и по соседству.

I

Первыми предвозвестительницами горя – как это ни странно – были старухи, которые видели нехорошие сны. Это началось с половины великого поста. Самую страшную сновидицею была наша птичница, гордая женщина из вольных однодворок, по имени Аграфена Петровна. Я помню, как отец один раз, придя к столу, за которым все мы сидели у вечернего чая, сказал матери, что сейчас, когда он распорядился работами, староста Дементий объявил ему, что мужики боятся сеять «яровые», потому что птичница Аграфена и другие старухи на деревне «прорекают голод» и поэтому страшно, что семена в земле пропадут.

– Но ведь это глупо! – возразила мать.

Отец пожал плечами и ответил:

– Да; это неразумно, но я не могу, однако, забыть, что во время большого неурожая в мое детство у нас об этом тоже заговорили еще перед весною, и притом также с бабьего голоса, а потом и в самом деле вышел неурожай. Мужикам я, разумеется, не позволю не сеять ярового, и если они не захотят, то я засею их поля собственными семенами и потом из будущего урожая отберу у них семена назад. Я уж это объявил Дементию и приказал ему, чтобы повестил сновидящим старухам, которые станут прорекать о голодном годе, что я этих пророчиц отряжу на всю весну индейт и утят от коршунов караулить. А тебе советую о том же самом построже сказать Аграфене, так как она всем этим пророчествам, говорят, самая главная заводчица.

Матушка была характера скорого и нетерпеливого: она сейчас же велела позвать к себе Аграфену с тем, чтобы спросить ее: отчего она начала пророчествовать голодный год, и потом сказать ей, чтобы более не пророчила.

А как я и брат мой и старшая сестра были в это время уже просвещены грамотою и знали по «Ста четырем священным историям», что пророчество есть «свыше посылаемый дар дивный и таинственный», то нам, разумеется, было в высшей степени любопытно знать, как этот дар спустился на нашу Аграфену и как наша мать возбранит к ней этому дару.

Аграфена же и сама по себе была личность интересная и пользовалась во дворе особыми правами, присвоенными ей превосходством рождения, возвышавшего ее среди совершенно бесправных крепостных людей. Аграфена, как сказано, была из людей вольных и вышла замуж за нашего крепостного сапожника Абрама, который вскоре умер, оставив ей двух детей: сына Егорку и дочь Василису, или Васёнку, которой теперь только исполнилось четыре года. Оба они, как рожденные от крепостного отца, были «крепки своему владельцу». Со смертью мужа Аграфена могла от нас удалиться, но ради любви к своим «крепостным» детям оставалась при них и служила как крепостная, но, в отличие от крепостных «понёвниц», она носила красную юбку, какие в нашем месте носили однодворки, а крепостные не носили. Кроме того, Аграфена была честна и горда – она не сносила ни малейшего подозрения и считала себя вправе вступаться за свою честь.

Ее надо было все «гладить по головке», – иначе она грубила.

Так случилось и тут, когда матушка позвала ее не в урочное время из ее жаркой птичьей избы в покой.

Аграфена пришла недовольная и нехотя отвечала на вопросы, предложенные ей для претекста о сколотнях и пахтанье, а когда матушка спросила ее: «Какие ты видишь сны?» – Аграфена отвечала ей:

– Какие приснятся.

– А зачем же ты голод пророчишь?

– А отчего же не пророчить? Вестимо уж, что когда хлеба не будет, так голод будет.

Да почему?... Что тебе снится... что делается?

– Что ни снится и что ни делается, а все теперь будет к голоду, и я с детьми пропаду... уйду отселена. И слава те господи! – отвечала Аграфена и ничего более не пояснила, а между тем слова ее тут же были поддержаны обстоятельствами.

II

Приближалось Благовещение, когда у нас было в обычае печь при церквах «черные просвиры» из ржаной муки, подсеянной на чистое сито. Муку эту приходское духовенство собирало с прихода, и за сбором этим разъезжал на своей лошади высокий старый дьячок, имя которого я теперь позабыл, но его все называли «Аллилуй». Он во всем причте пользовался авторитетом по церковному хозяйству и обыкновенно перед праздниками обметал веником иконостас и собственноручно мыл пол в алтаре и чистил лампы, и под его же надзором усердные бабы *пообещанию* вымывали полы в остальной церкви; он же и «отстреливал голубей», которые прилетали на колокольню и марали колокола; а его дьячиха – престарелая «Аллилуева жена», пекла «благовещенские просвиры», о которых надо сказать два слова в объяснение.

«Благовещенские просвиры» – это совсем не то же самое, что обыкновенные просфоры, которые изготовлялись для проскомидии. Проскомидийные просфоры изготовлялись из пшеничной муки «нарочитою просфорнею» (вдовицею) и делались высокенькие, столбушками, по общепринятому образцу, и печатались «именословною печатью» на верхней корке, а эти – благовещенские – делались просто «кулабушками» или «катышками» из «черной», сборной муки и уподоблялись настоящим просфорам только тем, что наверху у них тоже оттискивалась именованная печать. Они не требовались каким-либо церковным правилом, а только *допускались*, или, точнее сказать, были терпимы во уважение «крепкой привычки народа».

Люди требовали, чтобы эти просфоры сыпали в толпу сверху с колокольни, и в толпе их ловили руками – кто только схватит.

При этом разгуливалась сила и удаль: просвиры не «по чести», а «силом» брали – «кто сколько вырвет», а оттого людям этот обычай нравился.

Просфорня-вдовица «благовещенских просвир» печь не могла, потому что она была старушка слабенькая и вымесить в деже большой раствор была не в состоянии. А потому она ездила только собирать на просвиры и приходила с печатью их «знаменить», но ставила их и выделявала Аллилуева жена.

Никаким обычаям и правилам это было не противно.

В этот год Аллилуй по обыкновению объехал с просфорнею прихожан и собрал муки и променял ее у мельника на муку одинакового размола (так как из сборной муки разного поля и неровного размола печь неудобно, потому что она неровно закидает и трудно подходит), а затем Аллилуева жена растворила в деже муку и ночью подбила тесто, которое всходило прекрасно, как следует, а еще после затопила печь и перед тем, как наступила пора разваливать тесто и «знаменать просвиры печатью», пошла звать учрежденную вдовицу, у которой была печать; но едва она вышла со своего двора, как увидела мужа, беспокойно бежавшего к дому священника, с лицом до неузнаваемости измененным от ужаса. Дьячиха окликнула мужа и хотела его расспросить, но он сердито замахал на нее обеими руками и еще сильнее напрягся бежать к Ипполитову дому. Но так как Аллилуева жена была родом из Севского уезда, где уже есть «глуховский дух поведенции», то есть уже ощущается малороссийский обычай женского господства в семействе, то она забыла, зачем шла, а переняла Аллилуя на пути и сказала:

– Это еще что за новости! Или я тебе не законная жена? Говори, что случилось!..

Аллилуй отвечал, что случилась беда.

– А какая?

– А такая, что баба-дулеба стала, вымывши амвон, начисто воду спускать, да раскатилась и вся до половины сквозь двери в алтарь просунулась...

– Кто же это видел?

– Никто кроме меня не видал.

– Ну так и иди с господом богом, – отпусти баб и займися сам один каким-нибудь делом посерьезнее, а на это и язык прикуси.

– Хорошо, – отвечал Аллилуй, – дай мне чепурушечку выпить, и я взаправду послушаю тебя – прикушу язык.

Дьячиха налила ему чепурушечку, и Аллилуй подкрепился и пошел опять к храму, а жена его тоже, поправясь маленькой чашечкой, вышла вместе с ним и отправилась к учрежденной вдовице – звать ее «знаменить». Тут они тоже между собою покалякали, и когда вышли вдвоем, имея при себе печать на знаменования, то Аллилуева жена на половине дороги к дому вдруг услышала ни на что не похожий удар в несколько младших колоколов и тотчас же увидела людей, которые бежали к колокольне и кричали: «Аллилуй разбился!»

Несчастливая женщина бросилась туда и нашла своего мужа простертым на земле и при последнем издыхании: он лежал не дыша, с закатившимися под лоб глазами и с окровавленным ртом, из которого торчал синий кусочек закусенного зубами языка.

Дело произошло так, что Аллилуй, не желая более видеть неловких деревенских баб, пошел исполнять другую работу и хотел очистить засиженные птицами колокола; он делал это, держась за веревочки и стоя сапогами на перилах, с которых он покачнулся, упал и разбился до смерти. Пришел священник, отец Ипполит, по фамилии Мирдаров, – дал Аллилуе так называемую «глухую исповедь», а потом положил ему в рот причастие и тут же сразу прочел ему и отходную.

Все это было делом непродолжительным, но и химический закон в деже с растворенною мукою тоже не медлил и совершал безостановочно свое дело: назначенное для благовещенских просфор тесто ушло из дежи и расплзлось по полу. В него только ноги перепачкали люди, принесшие Аллилуево тело, а просфор печь было не из чего... Весь приход остался без просфор, а это составляло случай в жизни крестьян небывалый, потому что у нас все были люди набожные и ни один крестьянин не выходил сеять без того, чтобы у него в «севалке», то есть в круглой лубочной коробке с зернами, не было благовещенской просфоры.

Теперь же первый раз приходилось сеять без просфор, а это добра не обещало. Притом случай с бабой-дулебой, которая просунулась в алтарь, тоже огласился: Аллилуева жена, когда стала в голос «причитать» над мужниной могилой, выдала всенародно всю тайну своего пагубного самовластия и раскричала на весь крещеный мир, что муж ее Аллилуй был человек праведный и не хотел утаить, что «дулеба» в алтарь просунулась, а она его отвела от этого, и за то господь покарал ее праведно: взял от нее совсем к себе на тот свет Аллилуя.

Тут, узнав эту вещь от Аллилуевой жены, ахнуло и все приходское христианство, и были такие мнения, что бабу-дулебу надлежит убить за то, что она «в алтарь сунулась»; но дулеба, к счастью, скоро об этом услышала и хорошо собою распорядилась, потому что пристала к беглым, проходившим «в вольный Николаев град», бывший тогда для многих русских людей «градом убежища». Этим дулеба спасла людей от греха, а себя от преждевременной смерти. Во всяком же случае люди были окончательно обескуражены как тем, что у них в приходе «баба в алтарь вскочила», так и тем, что после этого пришлось сеять без просфор, – даром это в судьбах мира пройти не могло, – и предчувствия, что год предстоит «голодный», стали переходить в уверенность.

О том, что предстоящее лето может принести хороший урожай, с мужиками нельзя было спорить: они веровали, что год будет голодный, и не хотели сеять ни овса, ни гречи, ни проса.

– Для чего сеять, когда все пропадет, и семян не сберешь!

В нескольких господских имениях такое упорство крестьян было строго наказано; но мужики претерпевали, но не сеялись; кое-где они «скрыли семена», побросав их в мешках в картофельные ямы или овины, или спустили в подполья изб и в другие скрытные места.

Мой отец к крутым, понудительным мерам не обращался, то есть «людей не стегал», как говорили мужики, но он настоял на том, что крестьяне должны были вспахать свои участки

земли в яровых клинах и засеяли их выданными им заимообразными семенами, с обязательством возвратить семена из урожая. Но возвращать было не из чего: просфорное тесто ушло недаром – никакого урожая не было. Все посеянное пропало.

И как пропало! с какою-то злою иронией или с насмешкою, «точно шут шутил».

Взошло все густо и сильно, всключилось так, что уже на Юрьев день (23 апреля), когда скот выгнали первый раз с образами в поле, земля была укрыта сплошной рослою зеленью, – и зелень была такая ядреная, что ею не только наедались досыта тонкогубые овцы, но и коровы прибавили от себя удою. К Вознесеньеву дню грач в темно-синих озимых зеленях прятался, и сообразно тому «князем восходил» брошенный «в грязь» овес и поднимались из земли посеянные злаки, как вдруг в то время, когда наступила пора рассаживать на грядах выращенную в рассадниках капусту, стали слышаться жалобы, что «стало сушить». Рассаду и другие огородины «отливали водой», которую таскали на себе в худых ведрах бабы, а ребяташки в кувшинчиках; но «было не отлиться» – сушь «лубенила землю», и слышалось ужасное слово:

– Сожгло!..

Тут, увидев беду, «ударилась к богу», начали «звать попов и служить на полях молебны».

Каждый день молебствовали и выносили образа, то на озимые хлеба, то на яровые, но засуха стояла безотменно.

Стали обращаться к колдунам и знахарям – к доморощенным мастерам черной и белой магии, из которых одни «наводили» что-то наговорами и ворожбою на лист глухой крапивы и дули пылью по ветру, а другие выносили откуда-то свои обглоданные избенными прусаками иконки в лес и там перед ними шептали, обливали их водою и оставляли ночевать на дереве, – но дождя все-таки не было, и даже прекратились росы.

Беда становилась неминуемою... Провозглашено было «покаяние» и объявлен запрет на всякие удовольствия и радости.

Веревки на вислых качелях, на улице, закинули вверх, чтобы не качались; не позволяли девкам «водить танк» и «играть (петь) песни»; били ребят, которые играли в казанк и в свайку. Только один пастух, «косолапый Фонька», имел право «вызывать на дудке», но и его самодельная липовая дудка, вызывая коров, издавала слишком унылые и неприятные звуки: это заметили, должно быть, сами коровы и не шли на вызов косолапого Фоньки, потому что он уже давно их обманывал и выгонял их на поле, на котором им нечего было взять.

В народе стало усиливаться мрачное озлобление: мужья ни за что и ни про что били жен, старики обижали ребят и невесток, и все друг друга укоряли хлебом, и один на другого всё призывали «пропасть»: «О, нет на вас пропасти!»

Явилась и она, явилась «пропасть» – совершилось общественное преступление.

III

Пришел откуда-то «незнамый человек»; переночевав у мужичка, он послушал рассказов о горе-злосчасти от бездождия и сказал, что он это дело знает, – что в этой беде попы не помогут, а надо выйти в поле с зажженной свечой, сделанной из сала опившегося человека, «схороненного на распутье дорог, без креста и без пастыря».

«Незнамый человек» был запаслив, и в сумке у него как раз оказался огарок такой свечи, какая требовалась. Прежде она была у него длинная, но он ее уже «пожег во многих местах», где было такое же бездождие, и везде будто там «дожди пролили».

Захожему собрали с мира яиц и шесть гривен денег и пошли с ним «молитвить» на поле ночью.

Он «читал Отчу» и еще какую-то молитву, и «махал навкрест» зажженной свечой из человеческого сала, и велел к утру ждать росы, а «со полден тучи», – но только чтобы «ей не мешать», а то она может поворотить в другую сторону.

Затем этот человек тут же и ушел темной ночью.

Росы к утру не было, но о полднях небо потемнело и начало будто тучиться. Вскоре и в самом деле за Долгим лесом, принадлежавшим соседнему имению, стало густеть и появилась туча, но какая-то удивительная: вышла и стала на одном месте и дальше не двигалась.

Три мужика, бывшие на поле, долго не могли понять причину, почему туча не шла далее, но, наконец, догляделись и поняли.

Этому виноват был Егор Кожиён – шорник, который ходил по деревням со своею работою. Он был хороший мастер и отлично шил шлеи и хомуты, но человек был необстоятельный и на выработанные деньги пьянствовал иногда с таким великим усердием, что пропивал с себя все, и внутри себя утрачивал весь разум, и тогда страдал от разнообразных страхов, беспокойно разыгрывавшихся в его воспаленном мозгу.

Более всего пьяного Кожиёна преследовал «черный бык», который обыкновенно стремился на него откуда-то издавеча и все хотел поднять его на рога и перекинуть через свою спину в тартарары.

Увидав этого хронически преследовавшего врага, Егор Кожиён сейчас же от него бежал куда глаза глядят, но бык вдруг неожиданно опять появлялся перед ним впереди, и тогда Кожиён останавливался в ужасе, трясся, махал руками и кричал: «Тпружь! тпружь!» Если ему удавалось увернуться, то он бросался в противоположную сторону, а как и там тоже появлялся тот же самый призрак его больного воображения, то шорник метался по полям из стороны в сторону до тех пор, пока где-нибудь бык его настигал, и тогда Кожиён старался уж только о том, чтобы пасть ему между рогами и обхватить руками его за шею.

Это было отчаянное, но единственное средство спасения, которое уже не раз избавляло Кожиёна от смерти на рогах чудовища. Как он, бывало, заляжет у быка между рог, так тот его носит на голове, пока измается, и тогда сбросит его на землю, а сам убежит, а Кожиён после выпится, чувствует себя как после качки на море и «кунежнтся» – ищет, чтобы его пожалели: «Преставьте, – просит, – меня либо к матери божией – она мне заступница, либо пойдете в кабак – мне целовальник в долг даст».

Его находили недостойным вести к образу и обыкновенно отводили в кабак, где он опохмелялся у знакомого целовальника и поправлялся.

То же самое заходило у него и теперь, когда его заметили в поле три мужика, наблюдавшие тучу за Долгим лесом. Егор в ужасе бежал от своего быка и махал на него руками, крича: «Тпружь! тпружь!»

Он бежал теперь как раз против тучи, и ни к кому прямее, как к ней, относились его отгоняющие крики и жесты и... его не стало.

О ту пору, как с Кожиёном это в последний раз сделалось, на том же поле, где был он и три мужика, случились еще две небольшие крестьянские девочки, которые пришли на заросшую межу ломать полынь для веников. Завидев скакавшего и кричавшего Кожиёна, девочки испугались и залегли в полынь и видели, как Кожиён упал на межу и как к нему тут же вскоре подошли три мужика и подняли его и старались поставить его на ноги, но он не становился, а плакал и голосил: «Ведите меня к божией матери!» Тогда третий мужик взял Кожиёна за ноги, и все втроем они шибко пронесли его в лес, где есть густо заросший овраг, и там сразу произошло какое-то несогласие, и Кожиён навздрых закричал: «За что меня лобаните?..» И с тем все утихло, а потом мужички к ручейку спустились и у того ручья мыться стали.

Перепуганные же девчонки всё на меже в полыни сидели до вечера, притаившись как зайчики, и сами себе не могли сказать – чего они испугались; а когда солнце стало заходить за тот самый лес, куда унесли Кожиёна «лобанить», – девчонкам сделалось «еще больше ужасно», и они выскочили и бросились бежать в деревню без веников, за что их встретили с строгостью – оттрепали за косы и пообещали еще «выдрать крапивою», отчего они и умолкли, чтобы не навлечь на себя чего-нибудь еще худшего.

Так Кожиёна бык забодал и на рогах забросил.

С той поры уже никто и нигде не видал шатающегося шорника Егора, – и как не нужен был ему паспорт, так не нужна была ему и могила; но в память его были совершены некоторые немаловажные дела.

IV

У нас на чишобе, недалеко за гуменником, стоял дрянной сараишко, который называли «старым половнем», хотя он никогда никакого «гуменного» назначения не исполнял и даже для него не годился.

Сараишко этот огородили для себя смоленские «копачи», или «грабари», приходившие выкорчевывать пни от сведенного на этом месте леса. Копачи, окончив свою работу, ушли, а огороженный ими дрянной сараишко оставался неразобраным, может быть потому, что дрянной материал, из которого он был сколочен, не стоил и разбора.

Крыша сарая давно вся сотлела и просетилась, ворота упали и висели на одной «пятке», и никто в этот сарай не ходил, кроме солдатки Наташки, которую, впрочем, велено было гонять отовсюду. И вдруг в одну ночь этот так называемый «старый половень» *сгорел, как свечка!*

Было тихо и темно, и вдруг в то самое время, когда мы поужинали, – значит, часу в одиннадцатом, – небо озарилось теплым и очень приятным желтовато-розовым светом.

Сначала всем показалось, что это будто так восходит «рыжая луна», но оказалось, что это старый половень горит.

На пожар успели сбежаться многие, но половня не растаскивали и не заливали, так как отец считал его ничего не стоящим; но хозяину, однако, был интерес узнать: отчего могла загореться эта необитаемая и никому не нужная постройка?

Думали сначала на цыган или на поляков, но ни цыган, ни поляков нигде не видали; потом падала мысль на поводырей слепого Нефедя, которые курили трубку, но Нефед и его слепой товарищ и их поводыри, оказалось, «пели Лазаря», где-то далеко у чудотворца на празднике, и тогда староста Дементий – старовер и враг курения – подал мысль, что не виновен ли в этом кто-нибудь из молодых «трубокуров», и это первое подозрение Дементий обобщил с другими известными ему подозрениями насчет маленькой солдатки Наташки – шустрой бабенки с огромным репутее¹ всесветной куртизанки, из-за которой в деревне было много беспорядка не только между молодыми людьми, но и между старыми.

Дементий Васильич непременно хотел по этому случаю «кое-кого взбрызнуть» или «пострекать», до чего он, как коренной «начальник» старого фасона, был большой любитель; но когда он захотел «пострекать» кучерявого сиротинку Вукола, то отколь ни возмись появилась сама солдатка Наташка и закричала:

– Не смей трогать Вукошку – это не он... я видела, кто половень сжег.

И Наташка вдруг, не обинуясь, назвала трех самых обстоятельных хозяев в деревне...

И те были призваны и повинились, что они действительно были в «старом половне» со свечой *из Кожиёнова сала* и, вероятно, как-нибудь по неосторожности, и проч.

Дело было уже не в том, как они заронили огонь в половне, а в том: отчего было произнесено упоминание о «свече из Кожиёнова сала»?

Все это сейчас же окутал густой мрак самой тщательно скрываемой тайны: отец взял всех трех мужиков к себе в кабинет и заперся с ними на ключ вместе со старостой Дементиём. И о чем они там говорили – никто не слышал; но, конечно, все отлично знали, в чем это дело, и обстоятельнее всех исследовали его именно женщины, имевшие смелость спуститься на самое дно глубокого оврага в Долгом лесу, и там под хворостом и сухою листвою прошлогоднего листопада рассмотрели сильно разложившийся труп, который вся деревня единогласно признала за труп шорника Кожиёна. Из Кожиёнова тука все «нутреное сало» было уже «соскоб-

¹ Репутация (франц.),

лено», и из него, по всем вероятностям, наделано достаточное количество свеч, сожженных в разных местах, может быть, с подобным же результатом, как случилось и у нас в половне.

Тогда отец увидел, что дело может принять очень серьезный оборот, и поехал к соседу, которому принадлежал Долгий лес. Помещик этот, старик, бывший когда-то моряк и капитан второго ранга, жил нелюдимо в сообществе трех крепостных женщин, вместе с которыми и сам состоял под надзором четвертой, которая дирижировала весь круг его жизни. Событие в Долгом лесу вывело моряка из его зависимого состояния и подвигло к собственной инициативе, по которой он условился с отцом так, чтобы: есть или нет в лесу убитый – о том им обоим благородно и чинно ничего не знать, и кто такой там есть – этого не разыскивать, а для освежения чувства в людях, которые, очевидно, очень набожны, но только не знают, что им делать, – пригласить из трех сел трех священников... и сделать это как бы... при опасно больном консилиум... Отслужить соборне три молебна – в саду, на лугу и на поле, и быть всем вместе, дворянам и мужикам... и потом – угощение.

Отец на это согласился, и все предположенное к исполнению «для освежения чувств в народе» должно было происходить «на общих межах», по-соседски, но «выход» должен был быть от нас и у нас же быть «консилиуму» и угощению.

– Так как у вас, – сказал отцу моряк, – есть дома законная супруга, а у меня на этот счет одно беззаконие.

И торжество было отправлено у нас. Приглашен был еще один сосед, майор Алымов, тоже холостяк и с «репутацией», но молодой по летам, говорун и щеголь довольно дурного тона. Капитан второго ранга, вероятно, нехорошо был о нем наслышан и не хотел с ним сблизиться; ему даже неприятно было стоять рядом с майором за молебном, и Алымов это заметил и «начихал на него»: он отошел от горделивого моряка и, переступя поближе к дьячкам, стал задувать с ними вместе не в такт, но очень громким и звонким голосом: «Даждь дождь земле алчущей, спасе!» Раз от раза он все хватал это смелее и громче и очень этим угодил и крестьянам и духовенству, с представителями которого он еще более сошелся за столом, где опять несколько раз поднимался и пел: «Даждь дождь земле алчущей, спасе!» Этим Алымов ввел у нас прошение о дожде в такое распространение, что после у нас в доме все по целым дням пели: «Даждь дождь земле, спасе!» Но больше всех в этом упражнялись мы, дети: мы в своем молитвенном напряжении даже превзошли старших тем, что устроили себе из няниных фартуков ризы, а из свивальников орари, и все облачились да пели: «Даждь дождь». Нам это очень нравилось, но прислуге мы надоели, и служение наше было расстроено тем, что нянька отобрала у нас облачения и сказала:

– Полно дьячить! теперь уже никому и дождь не нужен и: настала пора убирать, а убирать нечего: *голодный год прошел уже!*

Это было для пас ужасное открытие! Мы и не заметили, что он *уже пришел*. Когда же это случилось? Мы всё еще просили «отвратить праведный гнев, на ны движимый», и напитать людей, «яко же птицами онеми», а тут уже все кончено: готово созревшее поле, на котором «стоит колос от колоса так, что не слышать человеческого голоса, а сжатый сноп от снопа – день езды»...

Пришел голодный год! «Съедим, что зародилось, и умрем», – говорили мужики и пекли еще из новичы лепешки и наварили к успенью браги, а с Богородичного Рождества некоторые несмело стали отлучаться... Спросите – куда? Сначала был еще стыд в этом сознаваться – отлучки эти скрывались: люди уходили из села и возвращались домой в потемочках, «чтобы суммы не было видно», – но голод и нужда возрастали, и к Покрову все друг о друге стали знать, что всем есть нечего и что «всем надо идти побираться».

V

Кто хотел бы составлять себе представление о деревенском голоде, бывшем в сороковом году, по тем явлениям, какие можно было наблюдать прошлой зимой, 1892 года, когда народные страдания были облегчаемы дружными усилиями разумных и добрых людей, тот получил бы очень неверное понятие о том, как страдал народ при тех порядках беспомощия, о которых вспомнил генерал Мальцев. Таких забот, какие прилагались теперь частными лицами, чтобы помочь голодающим крестьянам по одному человеколюбию и состраданию, тогда и в помине ни у кого не было, да никакое оказательство в смысле общей помощи было и невозможно; а само правительство, разумеется, не могло прокормить всех голодных. «Казенным» или так называемым «государственным крестьянам» тогда дали что-то из «запасных магазинов» на «обсеменение полей»; но это была помощь. слабая и ничтожная: «казенные» люди из названной категории на этот «заимобраз» тоже не могли прокормиться. Но о том, чтобы кормить их *досытости*, и не считали нужным заботиться: рассказывали, будто граф Киселев сказал кому-то, что «крестьяне не солдаты» и что «до новины они могут *одну зиму как-нибудь перебиться*», и это будто бы послужило достаточным успокоением чьей-то душевной тревоги. А казенные или государственные крестьяне в то время считались за «любимых детей» правительства. Что же касалось людей других сословий, то с этими было еще меньше хлопот: о мещанах нечего было и говорить, так как они земли не пахут и хлеба не сеют – стало быть, у них неурожая и не было, и притом о них давно было сказано, что они «все воры», и, как воры, они, стало быть, могут достать себе все, что им нужно; а помещичьи «крепостные» люди были в таком положении, что о них нечего было и беспокоиться, – они со дня рождения своего навеки были предоставлены «попечению владельцев», и те о них пеклись... Злополучные крепостные люди были всех других несчастнее: они не только страдали без всякой помощи, но еще с связанными руками и с тряпицей во рту. Они даже не имели права отлучиться, и нередко их жалобы и стоны принимали за грубость, за которую наказывали. Лучшие исключения были там, где помещики скоро ужаснулись раскрывшегося перед ними деревенского положения и, побросав свои деревни, сбежали зимовать куда-нибудь в города и городишки, – «все равно куда, лишь бы избавиться от своих мужичонков» (то есть чтобы не слышать их просьб о хлебе). Без господ крестьянам по крайней мере открывалась свобода брести куда глаза глядят и просить милостыню под чужими окнами. Впрочем, в некоторых больших экономиях «своим крестьянам» давали хлеба и картофеля в долг или со скидкой против цены, за которую отпускали «чужим людям», но и это все было недостаточно, так как и по удешевленной цене покупать было не на что.

Разумеется, я говорю только о той местности, где я тогда жил, в Орловской губернии. Может быть, что в других местах было и иначе.

Я говорю *только* о том, что сам видел или о чем слышал в тогдашнее время.

Самым ужасным тогда казалось, что люди в нашем месте были связаны крепостною неволею: через это они не могли никуда отлучиться и ничего себе промыслить. Среди мелкопоместных владельцев в Курской и в некоторых уездах Орловской губернии по местам происходило так, что дети и старики «ходили в побор», а взрослые работали на барщине, и работали работы неспешные, как-то: секли про запас хворост или рыли каналы, – с чем со всем можно было подождать, а ели «сборное», то есть то, что старики или ребятишки где-нибудь «напросят Христа ради». В больших экономиях крестьянам было гораздо лучше, уже по тому одному, что там по крайней мере не стесняли людей, и мужики поползли «с топорами» (то есть плотничать) и Киев, в Харьков и в Нежин и «с лошадем» подражались везти «лагуны» (с салом) или «бунты» (с пенькою) в Таганрог и в Одест. И в первом и во втором отходе заработок их был самый ничтожнейший, или, лучше сказать, – никакого. Работали они больше только «из

одного прокорма», и то считалось еще хорошо, если работник прокормится и назад домой вернется «с лошадем», а не с одним «кнутиком». А то случалось, что он придет да обрадует домашних, что «кобылу» или «мерина ободрал в ухабе». Крестьяне, которые «нашли ряду» и успели уехать ранее, пока лошади их езде не обессилели от изнурительной бескормицы, кое-как справлялись и на дороге, в самом пути, отъедались сами и откармливали лошадей: эти возвращались благополучно; но которые не нашли рано работы, а тронулись тогда, когда давно уже стал санный путь и лошади давно заморены на бескормице, – у этих все «рушилось»: лошади у них запрокидывались кверху ногами в первом раскате и «падали». Как бесподрезные сани пойдут в раскат и ударят клячу по исхудалым булдыжкам, – она тотчас же и упадет, и лежит. Ее «поднимают» мужики, кто за хвост, кто за плечи. Поднимет, установят и поддерживают, а потом тронут: «ну, матушка!» Но она пройдет несколько шагов и опять хлопнется, ноги вверх задерет и даже не бьется. Чуть только не просит, чтобы ее уж и не трогали – что «мне-де уже все равно как околеть, лишь бы только поскорее».

Иногда, бывало, видишь, что как только лошадь поднимут, так она тут же сию минуту опять и падает. Мужики, даже самые жестокие, тут плакали, как дети, и жалели лошадей – не били их, а все, бывало, уговаривают лошадку: «ну, матушка! ну, кормилица!» – да сами во всю дорогу то у одной, то у другой оглобли пыхтят и подсобляют, а сами всё плачут.

Страшное это представляло зрелище, как они, бывало, плетутся по дорогам длинными вереницами, и сами взъерошенные, истощенные и ободранные, а лошади уже совсем одни скелеты, обтянутые кожей...

И не разберешь даже – кто кого жалче.

Во всяком случае известная художественная группа Репина, изображающая поволжских бурлаков, представляет гораздо более легкое зрелище, чем те мужичьи обозы, которые я видел в голодный год во время моего детства.

В глубоких ухабах или под раскатами столбовых дорог то и дело, бывало, валяются ободранные «падла» и над ними стаями веются черные птицы, высматривающие – как бы им ухватить что-нибудь из того, что может остаться после зубов страшно осwirепевших от голода собак. Собаки тогда рыскали очень далеко от домов и дичали совершенно как волки. Крестьяне, как известно, и в «довольное время» не любят кормить своих сторожевых собак и держатся того взгляда, что «пес сам о себе промыслитель», а в голодный год собак и нечем было кормить. На их собачье счастье лошадей околевало множество и трупы их, или, по-мужичьи, «коневое падло», валялись без перевода и по полям и по задворкам. Псам только надо было иметь чутье да ноги, чтобы не пропасть с голода. Но удивительно было, как они далеко узнавали о каждой павшей скотине! Бывало, где ни выволокут падло, собаки уж знают, и через час-два собачьи следы так и наплетут через все поля сеть по снегу. Люди удивлялись этому и предполагали, что у собак непременно есть какое-то свое им свойственное средство сообщать друг другу новости о событиях, совершающихся за пределами их слуха, зрения и обоняния. В самом деле, чутье едва ли могло достигать на такие далекие расстояния, откуда сбегались собаки терзать падаль! Приходилось видеть знаемых деревенских собак, прибежавших верст за двенадцать и за пятнадцать. В начале зимы, когда лошадей дохло много, собаки так хорошо отъелись, что волки их боялись, и они не подпускали волков к пиру; но потом, когда все лошади переколели, голод собак стал ужасен, и волки пошли рвать их. Впрочем, псам все-таки было лучше, чем травоядным. Коров своих крестьяне «до последнего берегли» и «воспитывали крышами». Сгребут, бывало, с крыш давно почерневшую солому и иногда «попарят ее в корчажке» – вот и корм. Солить было нечем: тогда соль составляла «правительственную регалию» и была так дорога, что плоховатые мужики и в «ровные»-то года часто ели сноть несоленую. (У Тургенева мужик говорит, что надобно осиротелую девчонку взять. Баба отвечает: «Нам самим сноть посолить нечем». А мужик говорит: «А мы ее несоленую!» – и девчонку взяли). Коров «ходячих» не резали. Станет она «падать» или «заваливаться», идучи на

водопой, – ее всё еще поднимают и ведут до дому, «поддерживают» и опять «крышей воспитывают». И так водятся с ней до тех пор, пока у нее «титки высохнут». Тут уже, значит, ждать от нее больше нечего – «воспитание» ее кончено, и остается ей «нож воткнуть». Зарезанную полуиздохшую корову поскорее «требушили» и потом волокли «в копоть», то есть разнимут ее труп на частички и повесят эти рассеченные части «над дымом», чтобы их «прокурило» и «дух отшибло», потому что у этого мяса даже до посмертного разложения был какой-то особенный, вероятно болезненный, запах, которого «утроба человеческая не принимала». А потом, когда дым все это «прокурит», – вонь несколько изменяла свой характер, и мясо воняло иначе – менее противно: тогда его, бывало, варят и едят.

Но все это еще было сравнительно благополучное время, когда было что «дымить», а впереди ждало положение гораздо более тяжкое.

Здесь, однако, мне припоминается, какое горе бывало в крестьянском дворе, когда делалась очевидною неминуемая надобность немедленно предать смерти «кормилицу».

Как, бывало, доходит последний корм, так «бескормной корове» от мужиков выходит решение, что ее надо «приколоть»... Тогда все бабы принимаются «выть», а на них глядя, завоют все дети, и все стараются «коровушку покрыть», то есть уверяют мужиков, будто она еще может жить; но мужики этому не внемлют, и как заметят, что подоинок пуст, так сейчас же и берутся исполнять свое решение.

Это ужасные минуты в крестьянской избе, которых нет средств описать, а их надо видеть.

После ссоры и спора из-за коровы между бабами и мужиками – в избе вдруг пропадает хлебный нож!..

Нет его, да и только! Бабы говорят: «ребята затащили», – мужики дерут ребят за виски; ребята говорят: «мамка скрала», – мужики мнут мамке потылицу... Всем дела много, а нож все-таки не отыскивается.

Идут занимать нож к соседу, но и у соседа нож пропал! Бабы режут хлеб какими попало ножевыми «аскретками», а настоящие хлебные ножи все «пропали». Их ищут-ищут и не находят. Мужики понимают, что это значит, и долго не разговаривают, а идут за ножом на другой конец деревни и там где-нибудь пригодный нож находят. Тут же делают и уговор еще о живой корове: как делить ее «тушу», кому перед, кому зад, кому нутро или студни. Об этом уговариваются, чтобы не пропадала «убоина», и за раз несколько коров в деревне не режут. Сегодня режет один сосед, а другой поджидает, если есть чем издыхающую «воспитывать».

Когда мужик добудет нож и возвращается в избу, он молча начинает водить нож по железистому кирпичу на загнетке. Вид у него тогда мрачный, и бабы начинают его бояться и уже не воют, а тихо плачут: но мужика и это выводит из терпения. К тому же мать или другая старуха, которая не боится тукманки, где-нибудь за углом причитает. Мужик спешит точить нож и, пощупав его на ладони, уходит звать на помощь соседа. С «уборкой» буренки надо спешить, потому что она того и гляди околеет, и тогда выйдет не «убоина», а «падло».

Потом настает в избе жуткая тишина... Со двора все слышно, как мужики путают корову вожжами и потом бьют ее долбней по голове. Без этого они убить большую скотину не умеют. А потом, когда этот ужасный стук долбни по черепу прекратится, – мужик перекрестится и всунет корове нож в горло... И все стоят вокруг в тишине и смотрят, как кровь бьет и зарезанная еще дрыгает связанными ногами и смотрит. Потом тишина кончена, и закричат: «давай ночвы!» Тут всему делу развязка: бабы уже работают спокойно; носят разрубленные части своей буренки по избам и вешают их на деревянных крючьях и на лыковых веревках под потолками и над дверями черных изб (где дым идет). Тут это мясо коптилось, или как будто бы коптилось. На самом же деле орловские мужики мяса коптить не умели, да и негде было им его коптить, как надобно; а они только добивались, чтобы от него «не дюжо смердело».

Так приели весь рогатый скот, и ко сретенью (2 февраля) во всем селе, о котором рассказываю, осталась только одна корова у старосты да две у дворовых; но лошадей еще остава-

лось на сорок дворов штук восемь, и то не у крестьян, а у однодворцев, которые жили в одном порядке с крепостными. Однако все эти лошади содержались на одной соломе и ни для какой работы не годились. Их даже нельзя было гонять на водопой к колодцу, потому что они завязали в сугробах и падали, и люди должны были их вытаскивать и волочь домой – что было очень трудно.

Но не будем более говорить о скотах, а посмотрим, что случилось с самими сынами человеческими, отбывавшими здесь же беспомощно и безропотно все выпавшие на их долю злоключения «голодного года».

VI

Изобразить в общих чертах состояние духа деревенских людей за все время ужасной зимы сорокового года – я не умею. Была и унылость, и отчаяние, и стоны, и неимоверное мужество... все это «человеком» и «часом», то есть каждый человек переносил свое мучение соответственно своему характеру и не во всякую минуту одинаково. С виду даже, пожалуй, незаметно было, что люди переживают *особенноестрадание*: жизнь в крестьянских избах плелась почти такая же безотрадная, как и всегда. Те же стоны и кряхтенье стариков, не слезающих с остывших печей; тот же дым и вонь, а часто и снег, пролезающий по углам с наружной стороны изб во внутреннюю; те же слабые писки голых и еле живых ребят со вспухшими животами и красными от дыма глазами; но зимняя картина в орловской деревне никогда и не была другою... Я ее всегда видел именно этакою. Мне гораздо легче вспомнить и удобнее, кажется, передать некоторые *особенные случаи*,

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.